

Лили Кинг

# Писатели любовники



18+

НОВЫЙ РОМАН АВТОРА "ЭЙФОРИИ"

Лили Кинг

**Писатели & любовники**

«Фантом Пресс»

2020

УДК 821.111  
ББК 84(7Coe)

**Кинг Л.**

Писатели & любовники / Л. Кинг — «Фантом Пресс», 2020

ISBN 978-5-86471-863-6

Когда жизнь человека заходит в тупик или исчерпывается буквально во всем, чем он до этого дышал, открывается особое время и пространство отчаяния и невесомости. Кейси Пибоди, одинокая молодая женщина, погрязшая в давних студенческих долгах и любовной путанице, неожиданно утратившая своего самого близкого друга – собственную мать, снимает худо-бедно пригодный для жизни сарай в Бостоне и пытается хоть как-то держаться на плаву – работает официанткой, выгуливает собаку хозяина сарая и пытается разморозить свои чувства. Есть у Кейси и повод навеститься к врачам. А сверх всего этого она – увлеченная начинающая писательница, и ей есть что сказать, но все движется крайне медленно: уже шесть лет, как она пишет первый роман. Хватает ей и внутренних бесов, однако то, что постепенно получается у Кейси, – не графомания, и даже она сама, пусть и нерешительно, это понимает. О том, как жизнь перетасовывает паршивейшие карты, на какие неожиданные повороты бывают богаты даже самые горькие безнадежности и как глубок и устрашающе прекрасен мир, когда на него смотрят глазами творца, рассказывает и показывает нам Лили Кинг – и взгляд ее пронизателен, нежен и бескомпромиссен. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.111  
ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-86471-863-6

© Кинг Л., 2020  
© Фантом Пресс, 2020

# Лили Кинг

## Писатели & любовники

*Моей сестре Лиге с любовью и признательностью*

Writers & Lovers by Lily King  
Copyright © 2020 by Lily King

Это издание осуществлено при содействии Grove/Atlantic, Inc. и литературного агентства “Синопис”

*Перевод с английского* Шаши Мартыновой  
*Редактор* Максим Немцов

*Оформление обложки и макет* Андрея Бондаренко

© Шаши Мартынова, перевод, 2020  
© Андрей Бондаренко, оформление, 2020  
© “Фантом Пресс”, оформление, издание, 2021



У меня с самой собой уговор: по утрам о деньгах не думать. Так подросток старается не думать о сексе. О сексе тоже стараюсь не думать. И о Люке. И о смерти. Что означает – не думать о матери, она умерла в отпуске прошлой зимой. Много всякого, о чем нельзя думать, чтобы по утрам удавалось писать.



Адам, хозяин моего жилья, наблюдает, как я выгуливаю его пса. Возвращаюсь, а он в костюме и сверкающих ботинках, опирается на свой “бенц” на подъездной дорожке. По утрам ему нужна поддержка. Как и всем нам, видимо. Упивается контрастом между собой и мной, всклокоченной и в трениках.

Когда мы с собакой подходим, Адам говорит:

– Рано встала.

Я всегда рано встаю.

– Да и ты.

– Встреча с судьей в суде в семь ровно.

Обожай меня. Обожай меня. Обожай *судью, в суде и семь ровно*.

– Кто-то же должен это делать.

Не нравлюсь я себе рядом с Адамом. Он, по-моему, не хочет, чтоб я себе нравилась. Даю собаке проташить меня на несколько шагов мимо него – к белке, что протискивается сквозь рейки сбоку от здорового Адамова дома.

– Ну что, – говорит он, не желая отпускать меня слишком далеко, – как там *роман*?

Это слово он произносит так, будто его придумала лично я. Все еще опирается об автомобиль и поворачивает ко мне только голову, словно его поза слишком дорога ему и он не желает ее менять.

– С ним все хорошо. – У меня в груди начинается пчелиная возня. Несколько пчел ползет по руке с внутренней стороны. Один разговор способен испортить мне все утро. – Пора к нему возвращаться. Короткий день. Работаю двойную.

Втаскиваю пса на заднее крыльцо, отстегиваю поводок, пропихиваю животное в дверь и быстро ссыпаюсь по лестнице.

– Сколько страниц набежало?

– Пара сотен, наверное.

Не останавливаюсь. Уже на полпути к своей комнате сбоку от его гаража.

– Знаешь, – говорит он, отталкиваясь от своей машины, ожидая моего к себе полного внимания. – На мой взгляд, это невероятно: тебе, по-твоему, есть что сказать.



Сажу у себя за столом и глазею на фразы, которые написала перед прогулкой с собакой. Не помню их. Не помню, что писала их. Как же я устала. Смотрю на зеленые цифры на радиочасах. К обеденной смене мне одеваться меньше чем через три часа.

Адам учился в колледже с моим старшим братом Калемом – вообще-то, кажется, Калем был тогда немножко влюблен в Адама, – и поэтому Адам не садится мне на голову с арендной платой. И еще немного сбрасывает за то, что я выгуливаю его собаку по утрам. Эта комната в прошлом была садовым сараем, и в ней до сих пор пахнет суглинком и прелой листвой. Места здесь впрытк на односпальный матрас, стол и стул, а плитка с одной конфоркой и тостер – в уборной. Ставлю чайник на горелку – выпью еще черного чаю.

Пишу не потому, что, по моему мнению, мне есть что сказать. Пишу, потому что, если не писать, все кажется еще хуже.



В девять тридцать встаю со стула, отстирываю свою белую плиссированную блузку от пятен говяжьей вырезки и черники, утюжу насухо на столе, вешаю на плечики, цепляю крюк плечиков за петлю у себя на рюкзаке. Влезаю в черные рабочие брюки и футболку, собираю волосы в хвост, закидываю рюкзак за спину.

Выкатываю велосипед задом из гаража. Он там едва помещается – из-за всякого барахла, которое Адам держит: старых колясок, детских стульчиков, прыгунков, матрасов, конторок, коньков, скейтов, пляжных кресел, факелов тики, настольного футбола. Остальное место занимает красный микроавтобус его бывшей жены. Машину эту она бросила вместе со всем прочим – кроме детей, – когда в прошлом году переехала на Гавайи.

“Хорошая машина пропадать вот так”, – сказала как-то раз горничная, разыскивая шланг. Ее зовут Оли, она из Тринидада, не выбрасывает даже совочки, приложенные к коробкам со стиральным порошком, – шлет их домой. Этот гараж сводит Оли с ума.

Я еду по Карлтон-стрит, проскакиваю под красный на Бикон и устремляюсь к Карлтон-стрит.<sup>1</sup> Мимо грохочет транспорт. Соскальзываю с седла вперед и жду вместе с растущей толпой студентов, когда переключится светофор. Некоторые восхищаются моим конем. Это старый велочоппер, я нашла его в мае на свалке в Род-Айленде. Мы с Люком привели его в



порядок, надели новую промасленную цепь, подтянули тормозные тросики и раскачивали ржавый подседельный штырь, пока он не вылез до нужной мне высоты. Переключатель скоростей вделан в руль, отчего кажется мощнее, чем на самом деле, – будто где-то запрятан двигатель. Мне нравится все это ощущение как от мотоцикла – рукоятки руля вздернуты, седло простегано, и есть спинка, на которую я опираюсь, когда качусь по инерции. В детстве у меня такого велика не было, а вот у лучшей подружки был, и мы менялись велосипедами на несколько дней за раз. Эти студенты-бэушники<sup>2</sup> слишком молоды, на велочопперах не катались. А мне уже тридцать один, у меня мама умерла.

Светофор переключается, и я возвращаюсь в седло, пересекаю шесть полос Бикон-стрит и жму на педали через мост БУ на кембриджскую сторону реки Чарлз. Иногда не успеваю добраться до моста и надламываюсь. Иногда начинается на мосту. Но сегодня все в порядке. Сегодня держусь. Выкатываюсь на боковую дорожку с приречной стороны Мемориал-драйв. Разгар лета, река словно бы утомлена. Вдоль берегов толкается в тростники пенная белая дрянь. Похоже на белый налет, что копится в уголках рта у матери Пако под конец долгого дня беспрестанных кухонных жалоб. По крайней мере, я там больше не живу. Даже садовый сарай у Адама лучше, чем квартира под Барселоной. Переезжаю через улицу у Ривер-стрит и Уэстерн-авеню, где сворачиваю с бетона на грунтовую тропу, что ведет ближе к урезу воды. Со мной все в порядке. Со мной по-прежнему все в порядке – пока не замечаю гусей.

Они на пяточке у опоры пешеходного моста, то ли двадцать их, то ли тридцать, суетятся, тянут шеи, втыкают клювы себе же в перья или в перья соседям – или в немногие уцелевшие травяные кочки. Приближаюсь – все громче их гомон, крики, бормотанье и возмущенный клеткот. К помехам на своем пути они привычны и, чтобы убраться у меня с дороги, двигаются совсем чуть-чуть, а некоторые, когда проезжаю мимо, делают вид, будто щипнут меня за лодыжку; есть и такие, что предоставляют спицам у меня на колесах прошелестеть по перьям на гузках. И только истеричные кидаются в воду, вопя так, будто на них нападают.

Люблю я этих гусей. От них у меня делается туго и полно в груди, они помогают верить, что все опять наладится, что переживу и теперь, как не раз переживала раньше, что бескрайняя угрожающая пустота впереди – всего лишь призрак, жизнь светлее и игривее, чем я привыкла ее видеть. Но по пятам у этого чувства – у подозрения, что еще не все потеряно, – приходит порыв рассказать маме, сообщить ей, что сегодня со мной все в порядке, я ощутила нечто близкое к счастью и, возможно, все еще способна чувствовать себя счастливой. Ей такое было б интересно. Однако рассказать не получится. В любое такое вот хорошее утро в эту стену я всегда и влетаю. Мама будет волноваться за меня, а я не могу сообщить ей, что у меня все в порядке.

Гусям нет дела до того, что я опять плачу. Они привыкли. Фыркают, верещат и заглушают меня. Приближается бегунья, сходит с тропы, чуя, что я ее не вижу. Ближе к здоровенной лодочной станции гуси редуют. У моста Ларца Андерсона поворачиваю направо, вверх по Джей-Эф-Кей к Гарвард-сквер.

Такое вот, что ли, очищение – эта поездка, на несколько часов обычно хватает.



“Ирис” размещается на третьем этаже здания, которым владеет некий Гарвардский клуб, начавший сдавать это место лет десять назад, чтобы погасить чуть ли не сто тысяч долларов налоговых долгов. Летом студентов тут немного, и для них есть отдельный вход на другой стороне громадного кирпичного особняка, но я слышу, как они иногда репетируют. У них свой

театр, где они ставят пьесы, в которых мужчины рядятся в женщин, и своя певческая капелла, что носится туда-сюда, круглосуточно облаченная в смокинги.

Я пристегиваю велосипед к металлическому шесту парковочного знака, взбираюсь по гранитным ступеням и открываю здоровенную дверь. Тони, из старших официантов, уже на середине первого пролета, вещи, полученные из химчистки, несет на согнутой руке. Он забирает себе все хорошие смены, а потому форменную одежду ему по карману чистить профессионально. Лестница парадная, укрыта грязным ковром, заляпанным пивом, а когда-то он, похоже, был роскошно-алым. Даю Тони добраться до вершины пролета и повернуть на следующий, после чего начинаю подниматься сама. Миную портреты президентов, состоявших в этом клубе: Адамс, Адамс, Рузвельт, Рузвельт и Кеннеди. Второй пролет поуже. Тони поднимается медленно – все еще на полдороге. Замедляюсь еще сильнее. Свет на вершине лестницы исчезает. Спускается Гори.

– Тони, старина, – кричит он. – Как твое ничего?

– Стоит, блестит и радуется.

Гори радостно хмыкает. Лестница содрогается – он движется на меня.

– Поздненько, девонька.

Не опаздываю. Это он говорит женщинам вместо “здрасьте”. Вряд ли ему известно мое имя.

Ступенька, на которой я стою, проседает, когда он проходит мимо.

– Впереди людный вечер. Сто восемьдесят восемь броней, – говорит через плечо. Уж не кажется ли ему, что сейчас время после обеда? – А парень по вызову не вызывается – сказал, что заболел.

По вызову у нас работает Гарри, мой единственный друг в “Ирисе”. Он не заболел. Он на пути в Провинстаун с новым младшим официантом.

– Доставай свою большую клюшку, – говорит Гори.

– Из дома без нее не выхожу, – говорю я.

Как-то так вышло, что на собеседовании он вытащил из меня эту тему с гольфом. Сам он, как выяснилось, играет в крокет. Не на садовых вечеринках, а профессионально – участвует в соревнованиях. Вроде как один из лучших игроков в стране. “Ирис” он открыл после какого-то крупного выигрыша.

Где-то ниже меня он трижды громко шмыгает носом, отхаркивает, глотает, охает и выходит на улицу; при нем вся наличка, вырученная прошлым вечером, лежит в сумке с надписью “КЕМБРИДЖСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК” крупными буквами. Кто-то привесил Гори на спину бумажку-липучку, на ней выведено: “Ограбь меня”.

– Кейси блядь Кейсем<sup>3</sup>, – говорит Дана, когда я добираюсь до вершины лестницы. – Тебя еще не уволили? – Склоняется над Фабианиной стойкой администратора, составляет план раскладки. Его едва можно разобрать, и он получится гарантированно несправедливым.

Прохожу через зал к уборным, переодеваюсь в белую блузку, стягиваю волосы в положенный тугой пучок. Голову от него жжет. Возвращаюсь, Дана с Тони двигают столики, чтобы забрать в свои сектора многолюдные компании, устраивают всё в свою пользу: большие столы, постоянных клиентов, инвесторов ресторана, кому все бесплатно, зато чаевые оставляют астрономические. Не знаю, дружат ли Дана с Тони за пределами здания, но каждую смену работают вместе, как парочка злых фигуристов, что замышляют очередную подлянку, а затем рисуются, если проделка удалась. Они точно не любовники. Дана не любит, когда к ней прикасаются, – новому младшему официанту она чуть руку не сломала, когда он полез размять ей шею пальцами после ее слов, что у нее мышцу свело, – а Тони безостановочно болтает о своей подруге, но при этом лапает всех официантов мужского пола в любой смене. И Гори, и управляющего Маркуса они улестили напрочь – или, по крайней мере, избаловали. Мы с Гарри подозреваем, что все дело в наркотиках, какие поступают через брата Тони – барыги, который то и дело



оказывается за решеткой, и о нем Тони распространяется, только если упьется в хлам, и тогда требует от всех клятву молчания, будто раньше об этом не заикался. Мы зовем Дану и Тони Сестрёнкой-Извращёнкой<sup>4</sup> и стараемся держаться от них подальше.

– Вы только что забрали два стола из моего сектора, – говорит Ясмин.

– У нас два на восьмерых, – говорит Тони.

– Так и используйте свои, блин, столы. Эти – мои, мудачье. – Ясмин родилась в Эритрее, выросла в Делавэре, но читает много Мартина Эмиса и Родди Дойла<sup>5</sup>. К сожалению, против Сестренки-Извращенки ей не выстоять.

Не успеваю я объединить с Ясмин силы, Дана показывает на меня пальцем:

– Иди за цветами, Кейси Кейсем.

Они с Тони старшие официанты. Полагается делать, что они велят.



Обед – время дилетантов. Обед – он для новичков и старых рабочих лошадок на двойных сменах, эти трудятся столько, сколько управляющие им дадут. Я обслуживаю столики с восемнадцати лет, а потому из новенькой в рабочие лошади превратилась за полтора месяца. Деньги в обед – фуфло по сравнению с ужином, если только не обвалится компания юристов или хмырей с биотеха, празднующих что-нибудь многочисленными мартини, от чего бумажники их расслабляются на купюры. Обеденный зал залит солнцем, оно кажется здесь противоестественным и искажает все цвета. Мне больше нравится закат, когда окна постепенно чернеют, мягкий оранжевый свет из позолоченных бра скрывает жирные пятна на скатертях и солевые потеки на винных бокалах, за которыми мы недоглядели. В обед мы шуримся на голубой дневной свет. Клиенты просят кофе, едва успевают сесть. Прямо-таки слышно, что там за музыка у Мии, обеденной барменши. Обычно Дейв Мэттьюз<sup>6</sup>. Миа одержима Дейвом Мэттьюзом. Гори нередко трезв, а Маркус добродушен, занят какими-то своими делами у себя в кабинете и нас не трогает. В обед все задом наперед.

Но все быстро. При трех двойках и пятиместном у меня язык на плече еще до того, как часы на Гарвард-ярде бьют час. Нет времени подумать. Ты как теннисный мячик, который гоняют из зала на кухню вновь и вновь, покуда не разойдутся твои столики, все закончится, и вот уже сидишь с калькулятором, складываешь вознаграждения с кредиток и раздаешь чаевые барменше и помощникам. Дверь вновь на замке, Миа врубает на полную громкость “Рухни в меня”<sup>7</sup>, и после того, как все столики расставлены по местам, бокалы начищены, а приборы завернуты в салфетки к завтрашнему обеду, у тебя есть час на Площади<sup>8</sup>, после чего вкатываешься обратно – к ужину.



Иду к себе в банк рядом с “Коопом”<sup>9</sup>. Очередь. Кассир всего один. “ЛИНКОЛЬН СЛЕГГ”, – гласит латунная табличка. Мои сводные братья называли какашки “слегами Линкольна”<sup>10</sup>. Младший таскал меня в туалет – показать, какие у него получаются длинные. Иногда мы ходили посмотреть все вместе. Если мне когда-нибудь доведется посещать психотерапевта и рассказывать о своем детстве и терапевт попросит меня вспомнить какой-нибудь счастливый эпизод с участием моего отца и Энн, я поведаю о том, как мы все собирались поглазеть на несусветно длинную слегу Линкольна, произведенную Чарли.

Когда подходит моя очередь у стойки, Линкольну Слеггу веселье у меня на лице не нравится. Некоторые люди, они такие. Они считают, что чье угодно веселье – всегда за их счет.

Кладу перед ним пачку наличных. Она ему тоже не нравится. Казалось бы, кассир должен быть рад за тебя, особенно после того, как ты дорос до вечерних и двойных смен и готов положить себе на счет \$661.

– Пополнить счет можно и в банкомате, между прочим, – говорит он, беря деньги кончиками пальцев. Ему не нравится трогать деньги? Кому же может не нравиться трогать деньги?

– Это понятно, но у меня наличка, и я просто...

– Когда наличные окажутся в машине, их уже никто не сворует.

– Просто хотела убедиться, что они попадут на мой счет, а не на чей-нибудь еще.

– У нас строго регулируемый системный протокол. И все записывается на видео. То, что вы делаете сейчас, гораздо менее надежно.

– Я просто рада, что кладу эти деньги на счет. Прошу вас, не портите мне праздник. Эти деньги даже вздремнуть не успеют, как их всосут акулы федерального кредитования, поэтому дайте мне порадоваться, ладно?

Линкольн Слегг пересчитывает мои деньги, шевеля губами, и не отвечает.

Я в долгах. В таких долгах, что даже если Маркус отдаст мне все обеденные и все вечерние смены, какие у него только есть, мне все равно из долгов не выбраться. Мои займы на колледж и магистратуру подпали под дефолт, пока я была в Испании, а когда вернулась – узнала, что штрафные, сборы и налоговые расходы чуть ли не удвоили исходную сумму долга. Сейчас мне остается только управлять этим долгом, платить минималки, пока – и в этом все дело – пока... что? До каких пор? Ответа нет. Призрак пустоты – отчасти в этом.

После общения с Линкольном Слеггом плагчу на скамейке рядом с унитарной церковью. Занимаюсь я этим скрытно, без шума, но не давая слезам моросить по лицу, когда находит настроение, не могу.

Иду к “Иностранным книгам Сальваторе” на Маунт-Обёрн-стрит. Работала здесь шесть лет назад, в 1991-м. После Парижа, до Пенсильвании, Альбукерке и Орегона, до Испании и Род-Айленда. До Люка. До того, как моя мать отправилась в Чили с четырьмя подругами и оказалась единственной, кто не вернулся.

Магазин кажется другим. Чище. Стеллажи устроили иначе, а там, где раньше были “Древние языки”, поставили кассу, зато все по-старому в недрах – там, где болтались мы с Марией. Меня наняли на французскую литературу, в помощь Марии. Той осенью я только-только вернулась из Франции и решила, что, хоть Мария и американка, мы будем все время говорить по-французски – о Прусте, Селине и Дюрас<sup>11</sup>, которые были в ту пору очень популярны, но в итоге мы разговаривали по-английски, в основном про секс, а это, наверное, в своем роде по-французски. Из тех восьми месяцев общения с ней мне теперь вспомнился только ее сон о Китти, ее кошке, – о том, как Китти ей вылизала. Шершавый кошачий язык – это очень приятно, сказала Мария, но кошка все время отвлекалась. Полижет у Марии – и переключается на свою лапу, и Мария проснулась от собственного окрика: “Соберись, Китти, соберись!”

Но Марии в глубине магазина нет. Никого нет, даже Манфреда, циничного восточно-германского немца, впадавшего в ярость, когда люди спрашивали Гюнтера Грасса, потому что Гюнтер Грасс категорически возражал против воссоединения страны. Всех нас заменили детьми – мальчиком в бейсболке и девочкой с волосами до бедер. Поскольку пятница, три часа дня, они пьют пиво – “Хайнекен”, в точности так же, как когда-то мы.

Гэбриел появляется со склада с добавкой пива. Выглядит по-прежнему: серебристые кудри, торс при таких ногах длинноват. Я в него влюбилась по уши в свое время. Такой умница, так любил свои книги, со всеми зарубежными издателями общался по телефону на их языке. Юмор у него сумрачный, едкий. Гэбриел раздает бутылки. Говорит что-то вполголоса, все смеются. Девочка с волосами смотрит на него так же, как смотрела когда-то я.

Работая у Сальваторе, банкротом я еще не была. Ну или, во всяком случае, банкротом себя не считала. Долги мои были куда меньше, а “Сэлли Мей”, “Эд-Фанд”, “Коллекшн Текнолджи”, “Ситибанк” и “Чейз”<sup>12</sup> ко мне еще не приставали. В доме на Чонси-стрит я снимала комнату у друзей за восемьдесят долларов в месяц. Мы все пытались стать писателями при работах ради прокорма. Ниа и Эбби трудились над романами, я писала рассказы, а Расселл был поэт. Пospорила бы, что Расселл продержится дольше нас всех. Несгибаемый и дисциплинированный, он вставал в четыре тридцать, писал до семи и пробегал пять миль, после чего отправлялся на работу в библиотеку Уайденера<sup>13</sup>. Но он сдался первым и пошел в юридическую школу. Теперь он налоговый адвокат в Тампе. Дальше – Эбби. Тетя уговорила ее сдать экзамены на агента по недвижимости, просто ради смеха. Потом она пыталась рассказывать мне, что все-таки использует воображение, когда ведет очередных клиентов по дому и изображает для них новую жизнь. Я видела ее в Бруклайне в прошлом месяце у громадного дома с белыми колоннами. Она склонялась к водительскому окну черного “паркетника” на подъездной дорожке и ожесточенно кивала. Ниа нашла себе специалиста по Милтону – с прекрасной осанкой и трастовым фондом, специалист вернул ей ее роман, прочтя пятнадцать страниц, со словами, что женские нарративы от первого лица действуют ему на нервы. Она зашвырнула роман в помойку, вышла замуж за специалиста и переехала в Хьюстон, где специалисту дали работу в Райсе<sup>14</sup>.

Я не понимала. Ни одного из них не понимала. Один за другим они сдавались, съезжали, и их заменяли инженеры из МТИ<sup>15</sup>. Парень с волосами, собранными в хвост, и с испанским акцентом зашел к Сальваторе в поисках Бартова *Sur Racine*<sup>16</sup>. Мы поговорили на французском. Он сказал, что на дух не выносит английский. Французский у него оказался лучше моего – отец у него был из Алжира. В своей комнате на Сентрал-сквер сварил мне каталанскую рыбную похлебку. Целуя меня, он пах Европой. Его стипендиальная программа закончилась, и он уехал домой в Барселону. Я отправилась по магистерской программе в Пенсильванию, мы писали друг другу любовные письма, пока я не начала встречаться с потешным парнем с моего семинара, писавшим мрачные двухстраничные рассказы, действие которых разворачивалось в промышленных городах Нью-Гемпшира. После того как мы расстались, я ненадолго переехала в Альбукерке, а затем оказалась в Бенде, Орегон, с Калемом и его дружочком Филом. Деша от Пако отыскала меня там, и мы возобновили переписку. В его пятом письме я обнаружила билет в Барселону в один конец.

Болтаюсь по отделу Древней Греции. Вот какой язык я хочу теперь выучить. За углом, в итальянском отделе, единственная покупательница сидит, скрестив ноги, на полу вместе с маленьким мальчиком, читает ему *Cuore*<sup>17</sup>. Голос у нее низкий и красивый. В Барселоне я начала немножко говорить по-итальянски – с моей подругой Джулией. Подхожу к длинной стене французской литературы, разделенной по издателям: ряды красных-по-слоновой-кости “галлимаров”, синих-по-белому “эдисонов-де-минюи”, грошовых-на-вид “ливр-де-пошей”, а следом – несусветные “плеяды”<sup>18</sup>, в своей отдельной стеклянной витрине, в кожаных переплетах с золотыми буквами и тоненькими золотыми полосками: Бальзак, Монтень и Валери, корешки поблескивают, словно самоцветы.

Все эти издания я расставляла по полкам, вскрывала коробки, запихивала их на металлические стеллажи в подсобке и выносила книги в зал понемногу за раз, обычно без умолку споря с Марисей об *À la Recherche*, который я обожала, а Мария утверждала, что это такая же скукота, как “Мидлмарч”<sup>19</sup>. Чтобы продраться сквозь “Мидлмарч” тем летом, когда Марии было семнадцать, по ее словам, ей пришлось сдрочить себе самой восемнадцать раз. Я из-за этой книги себе все “преисподнее” стерла, сказала она.

Вижу экземпляр *Sur Racine*, которой у нас не было в тот день, когда Пако явился за книгой. Тогда пришлось заказывать специально. Трогаю капельку клея на верху корешка. По Пако я никогда не плачу. Те два года с ним во мне возлегают необременительно. Мы с ним перешли с французского на гибрид каталана и кастильского, которому он меня научил, и мне интересно, из-за этого ли я не скучаю по нему – из-за того, что все нами сказанное друг другу оказалось на языках, которые я начинаю забывать. Может, восторг этой связи и состоял в языках, в том, что все ощущалось острее как раз поэтому, из-за усилия, от моей попытки поддерживать в нем веру в мои языковые дарования, в способность впитывать, подражать, подстраиваться. Эдакий трюк, какого от американки никто не ожидал, – сочетание хорошего слуха, крепкой памяти и понимания правил грамматики, и поэтому я казалась богльшим вундеркиндом, чем была на деле. Каждый разговор – возможность преуспеть, порезвиться, развлечь себя и удивить его. Но все же теперь я не могу вспомнить, чтог мы говорили друг другу. Иноязычные беседы не оседают у меня в голове так, как разговоры на английском. Не задерживаются. Напоминают мне перо с симпатическими чернилами, какое мама прислала мне на Рождество, когда мне было пятнадцать, – и уехала, и этот парадокс ускользнул от нее, но не от меня.

Выскальзываю вон, пока Гэбриел не узнал меня или пока кто-то из сотрудников не вышел из-за справочной стойки и не напал на меня со своей помощью.

В Массачусетс я возвращаться не планировала. У меня просто не нашлось других планов. Мне не нравятся напоминания о тех днях на Чонси, о том, как я сочиняла рассказы у себя в спальне на третьем этаже, как пила турецкий кофе в “Алжире”, отплясывала в “Плуге и звездах”<sup>20</sup>. Жизнь была легка и дешева, а если оказывалась недешева, я применяла кредитку. Мои ссуды продавались и перепродавались, я платила минимальные ставки и о своем распухающем балансе не задумывалась. Мама тогда уже переехала обратно в Финикс и платила за мои авиабилеты к ней, повидаться дважды в год. Остальное время мы болтали по телефону – иногда часами напролет. Мы ходили по-маленькому, красили ногти, кухарили и чистили зубы. Я всегда знала, где именно она находится в своем маленьком домике, – по фоновым звукам, по скрежету вешалки или звону бокала, помещаемого в посудомойку. Рассказывала ей о людях у нас в книжном, а она мне – о людях у нее в конторе в парламенте штата в Финиксе, она тогда работала на губернатора. Я вытаскивала из нее повторы ее историй о Сантьяго-де-Куба, где она росла, живя с родителями-экспатами, урожденными американцами. Ее отец был врачом, а мать пела опереточные песенки в ночном клубе. Время от времени она спрашивала, постирала ли я, сменила ли постельное белье, а я говорила ей, чтоб перестала изображать мать, не в ее это природе, и мы смеялись, потому что это правда и я ее за это простила. Оглядываюсь на те дни – они мне представляются обжорными: все время, вся любовь и вся жизнь впереди, никаких пчел у меня под кожей, а мама – на другом конце провода.

Вдоль улицы над капотами припаркованных машин – кляксы жара, кирпичные здания от них смотрятся волнистыми. Тротуары сейчас запружены – забиты публикой-из-пригорода, они бредут со своими блинчиками и холодными латте, дети сосут молочные коктейли и “Горную росу”<sup>21</sup>. Выхожу на проезжую часть, чтобы не сталкиваться с ними, перебираюсь к Данстеру<sup>22</sup> и возвращаюсь в “Ирис”.

Поднимаюсь по лестнице мимо президентов прямиком в уборную, хотя я уже в форменной одежде. В уборной пусто. Вижу себя в зеркале над раковиной. Зеркало наклонено от стены ради людей в инвалидных креслах, а потому я к себе – под слегка непривычным углом. Вид у меня помятый, как у человека приболевшего и за несколько месяцев постаревшего на десяток лет. Смотрю себе в глаза, но они не совсем мои – не те это глаза, какие были у меня когда-то. Глаза человека очень усталого и очень печального, и когда я вижу их, мне делается еще печальнее, а затем я вижу эту печаль, это сострадание к печали у меня в глазах, и вижу, как в них поднимается влага. Я одновременно и печальный человек, и человек, желающий утешить печального человека. А следом мне становится печально за того человека, в ком живет столько

сострадания, потому что и сама она, очевидно, пережила то же самое. И так по кругу, по кругу. Все равно что оказаться в примерочной с трехстворчатым зеркалом и настроить его так, чтобы видеть длинный сужающийся коридор с собой в нем, уменьшающейся в бесконечность. Ощущение такое же – будто печалюсь за бесконечное множество самих себя.

Плещу в лицо водой, промокаю полотенцем из раздатчика на случай, если кто-то войдет, но не успеваю высушить лицо, как оно опять сминается. Стягиваю волосы обратно в тугий пучок и выхожу из уборной.

В зале появляюсь с опозданием. Сестренка-Извращенка уже орудует.

Дана зыркает злобно.

– Терраса. Свечи.

Терраса располагается за баром и за французскими дверями – там влажно, пахнет розами, лилиями и перечными настурциями, которыми шефы украшают тарелки. Со всех цветов капает грязная вода, половицы вокруг мокрые. Пахнет, как у мамы в саду дождливым летним утром. Должно быть, шеф-кондитер Элен только что поливала. Этот оазис на крыше – ее творение.

Мэри Хэнд – в дальнем углу, с подносом греющих свечек, графином воды и мусорным ведром, соскребает ножом старый воск, натекший прошлым вечером.

– Погнали наши городских, – говорит Мэри Хэнд. У нее свой язык. Столики в “Ирисе” она обслуживает дольше всех.

Сажусь к ней. Беру с подноса тряпку и уже вычищенные стеклянные подсвечники протираю изнутри, роняю в них несколько капель воды и свежую свечку.

Возраст Мэри Хэнд разобрать трудно. Она старше меня – но на три года или на двадцать? У нее прямые каштановые волосы без единой седой пряди, она их стягивает назад бежевой резинкой, лицо длинное, шея тощая. Вся вытянутая и сухопарая, скорее жеребенок, нежели рабочая лошадь. Лучшая официантка из всех, с кем мне доводилось трудиться бок о бок, непоколебимо спокойная, но стремительная и сметливая. Знает все твои столики не хуже своих. Выручает тебя, если упускаешь зарядить закуску на столик-шестерку или забываешь свой штопор дома. В разгар вечера, когда все рвут задницу, когда передерживаешь тарелки под тепловой лампой и они перегреваются так, что их не унести даже на полотенце, сушефы срываются на тебе, а клиенты ждут своей закуски, счетов, доливов воды, добавок сока, Мэри Хэнд разговаривает с оттяжкой. “Проще пареной репы”, – может добавить она, грузя все твои закуски себе на длиннющие руки и не морщась.

– Давай, гомункул, – воркует Мэри Хэнд над выжженным огарком. Никто никогда не зовет ее просто “Мэри”. Она подвертывает нож, и с приятным чпоком нас окатывает ошметками восковой жижи, мы смеемся.

Терраса хороша вот такой, без клиентов, солнце за высокими кленами пятнает столики светом, но без избытка жара – терраса высоко над горячим шумным хаосом Масс. – ав., растения Элен, их сотни, в ящиках вдоль низеньких каменных стенок и в горшках на полу, свисают со шпалер, все цветут, листья темно-зеленые, здоровые. Все растения, кажется, довольны, благоденствуют, и рядом с ними сам ощущаешь себя так же – или, по крайней мере, чувствуешь, что благоденствие возможно.

У мамы был дар к садоводству. Хочу сказать об этом Мэри Хэнд, но здесь, в ресторане, я о матери еще не заикалась. Не хочу быть той девицей, у которой мать только что умерла. Хватает и того, что я девица, которую послали подальше. Моя большая ошибка: на первой же учебной смене рассказала Данае о Люке.

– Тут каждый год так плодородно?

– У-у-у-гу-у-у, – говорит Мэри Хэнд. Видно, ей нравится слово “плодородно”. Я знала, что ей понравится. – У нее дар. – Слово “дар” она произносит как “да-а-ар”, очень медленно. Речь об Элен. – Да-а-ар к флоре.

– Сколько лет ты здесь работаешь?

– Со времен Трумена<sup>23</sup> примерно.

С подробностями своей жизни она жметя. Никому не известно, где и с кем обитает. Вопрос только в том, со сколькими кошками, утверждает Гарри. Но я не уверена. Ходит байка, что она встречалась с Дэвидом Бёрном<sup>24</sup>. Болтают, что еще в старших классах в Балтиморе, – болтают, что дело было в РАШД<sup>25</sup>. Все говорят, что он разбил ей сердце и она так и не оправилась. Если до или после смены врубают музыку и возникают “Говорящие головы”, кто б ни был рядом с аудиосистемой в баре, станцию тут же переключают.

– Как ты оказалась на этой работе? – спрашивает она. – Ты не из тех, кого Маркус обычно нанимает.

– В каком смысле?

– Ты больше как мы – как старая гвардия. – Она имеет в виду людей, нанятых прежним управляющим. – Из церебральных.

– Не уверена, что я такая.

– Ну, ты знаешь, что такое “церебральный”, так что я права.

На террасу приходит Тони, выдает нам раскладку. Тут всего один большой стол – десятка, празднование чьего-то юбилея. Мы с Мэри Хэнд сдвигаем столики, накрываем их несколькими скатертями, выравниваем уголки верхней скатерти до кромки внизу. То же проделываем и со столиками поменьше, раскладываем приборы и посуду, попутно драим ветошками столовое серебро и бокалы. На каждый столик ставим по свечке и забираем из холодильника цветы, которые я подготовила к ужину. Шеф сзывает нас всех к официантской станции, рассказывает о блюдах дня, объясняет, что, из чего и как готовится. Шефы, с которыми мне раньше доводилось работать, были психованными и взбалмошными, а вот Томас спокойный и добрый. У него в кухне ничто не валится из рук. Нет у Томаса ни норова, ни злого языка. Он не ненавидит женщин, в том числе и официанток. Если допускаю промашку, даже в людный вечер, он просто кивает, забирает тарелку и подталкивает ко мне то, что было нужно. И повар он отличный к тому же. Мы все стараемся дорваться до лишнего карпаччо, или обожженного гребешка, или “болоньезе”. Верхние полки официантской станции забиты выжужленной едой, затолкнутой до упора, чтобы Маркус не заметил, – мы тайком питаемся ею весь вечер. Мне приходится есть в ресторане – в продуктовом магазине я себе могу позволить только злаковые хлопья или лапшу, – но даже если б не сидела на мели, ту еду я бы все равно таскала.

Через полчаса все места в моем секторе заняты. Мы с Мэри Хэнд ловим волну. Французские двери на террасу должны быть всегда закрыты, поскольку в обеденном зале работает кондиционер, и когда наши блюда готовы и подхвачены, мы открываем друг дружке те двери. Мэри Хэнд приносит мои напитки на одну мою четверку, а я подаю лосось на ее двойку, пока она открывает бутылки шампанского для буйной десятки.

Мне нравится выходить из жаркой кухни в прохладный обеденный зал, а оттуда – на влажную террасу. Нравится, что на баре Крейг, потому что сколько б заказов ни возникало, он всегда успевает добраться до твоих столиков и поговорить о винах. И мне нравится витать, словно нет свободного пространства, чтобы помнить что угодно о своей жизни, кроме того, что осособуко – мужчине при галстук-бабочке, лавандовый флан – имениннице в розовом, а “сайдкары” – студенческой парочке с липовыми документами. Мне нравится запоминать заказы – а записывать вы не будете? – обычно уточняют пожилые мужчины, – забивать их в компьютер на станции, забирать мое из окошка раздачи, пресекать мухлеж, подавать налево, прибирать справа. Дана с Тони слишком заняты на своих больших столах и не успевают никого оскорбить, а после того, как я выношу Данины салаты, пока та принимает заказ, она украшает перед подачей мои вонголе.

У меня столик из Эквадора, говорю с клиентами по-испански. Они слышат мой акцент и уговаривают сказать пару фраз на каталане. С ощущением этой речи во рту возвращается память о Пако, хорошее о нем, то, как у него сминалось все лицо, когда он смеялся, и как он давал мне заснуть у себя на спине. Рассказываю им, что у нас есть посудомой из Гуаякиля, и они хотят с ним познакомиться. Притаскиваю Алехандро, и он в итоге садится с ними покурить, болтает о политике и щерится как сумасшедший, а я успеваю разглядеть, каков он, когда не окутан брызгами и паром и не возится с пищевыми отходами. Но на кухне копят дела, Маркус в конце концов вылетает на террасу и высылает Алехандро на его рабочее место.

Единственная стычка случается при второй посадке, когда Фабиана помещает двойку, которая вроде как Данина, в мой сектор.

– Ей только что досталась пятерка, – говорит Дана. – Что за херня?

Фабиана преодолевает весь путь в обход официантской станции – этого места она сторонится, поскольку тут толкотня и есть опасность испачкаться. На ней шелковое платье с запахом, она единственная женщина, которой позволены распущенные волосы. Чистенькая, только что из-под душа, и от нее никогда не пахнет салатной заправкой.

– Они ее попросили, Дана. У тебя семерка будет в восемь тридцать.

– Сраные учительницы из Уэллсли?<sup>26</sup> Ой спасибо. Возможно, перепадет пятерка с их воды со льдом и одного на троих салатика.

Тянусь заглянуть за высокие полки на террасу. Рослая женщина и лысеющий мужчина.

– Бери себе. Я даже не знаю, кто это.

От бара к нам идет Маркус.

– Ты почему все еще здесь? – Фабиана рявкает на меня, чтобы выслужиться перед ним. – Иди к ним, Кейси.

Кажется, эти двое начали спать.

Выхожу на террасу.

– Кейси! – Оба резко встают и крепко обнимают меня. – Вы нас не узнаете? – спрашивает женщина. Мужчина взирает благодушно, щеки красные, расслабленные, коктейлем-другим уже закинулся. Она – крупная, грудь высокая, как форштевень, короткая золотая цепочка с лазурным камушком на шее. Что-то такое могла б носить моя мать.

– Простите.

Столик позади них ждет счет.

– Мы работали у Дага. С вашей мамой.

То была ее первая работа после того, как она бросила моего отца, – при кабинете некого конгрессмена. Дойлы. Вот это кто. Лиз и Пэт. Тогда они еще не были женаты.

– Это она свела нас, между прочим. Сказала Пэту, что я хочу с ним на свидание. А мне сказала, что он собирается меня позвать, хотя ничего подобного он не говорил. Вот же нахалка! И все же вот, пожалуйста. – Пожимает мне руку. – Какая жалость, Кейси. Нас эта новость сокрушила. Попросту сокрушила. Мы были в Виро, иначе пришли б на службу.

Киваю. Если б меня как-то предупредили, я бы справилась получше, но это – удар внезапный. Киваю еще раз.

– Мы хотели написать вам, но не знали, где вы на белом свете. А затем наткнулись на Эзру, он слышал, что вы вернулись в “Ирис”! – Кладет теплую ладонь мне на руку. – Я вас расстроила.

Качаю головой, но лицо меня выдает, и брови ведут себя странно.

– Она подарила мне вот эту цепочку.

Разумеется.

– Прошу прощения, – говорит мужчина у них за спиной, помахивая кредиткой.

Киваю ему и всем, кто останавливает меня на пути к станции. Вытаскиваю лист рассадки из обеденной корзины и распечатываю чеки, зарывшись лицом в салфетку.



– Соберись, а, – говорит Дана, однако все же кладет чек на поднос с шоколадками и выносит его к моему столику за меня.

Проталкиваюсь через створки кухонных дверей. Повара заняты, спинами ко мне и к еде, которая ждет меня под тепловой лампой. Захожу в холодильник. Стою в сухой стуже, смотрю на полки с молочными продуктами у задней стенки, на брикеты масла, завернутые в вощеную бумагу, и пакеты с густыми сливками. Упаковки яиц. Дышу. Смотрю на руку. Кaleb уступил мне ее кольцо. Она носила его всю мою жизнь – сапфир и два брильянтика. Небо и звезды – так мы его звали, когда были маленькими. Ее подруга Дженет придумала снять кольцо у мамы с пальца – после. Рука моя, когда я его ношу, смотрится в точности как мамина. Справлюсь, говорю я переливчатому сине-черному глазу. Выхожу принять заказ у Лиз и Пэта Дойл.

Когда приношу им их пино гриджо и закусь, они все еще держатся скорбно, однако к стейкам из меч-рыбы и ризотто Пэт уже разговаривает оживленно, употребляя слова, которых я не понимаю, – фондовые акции, коэффициент Шиллера<sup>27</sup>, – а к кофе они уже хихикают по поводу кого-то по имени Марвин, устроившего кавардак на свадьбе у их дочери, и едва ли помнят, что знакомы со мной. Впрочем, оставляют мне свои визитные карточки – на подносе с фискальным чеком и чаевыми. Шестнадцать процентов. Оба – частные предприниматели. Ни один из них больше не занимается политикой.

Столик за столиком люди исчезают, оставляя после себя перепачканные салфетки и отпечатки губной помады. Скатерти взъерошены и заляпаны, винные бутылки перевернуты вверх дном в мокрых держателях, море бокалов, кофейных чашек и замурзанных десертных тарелок. Все оставлено, чтобы кто-то убрал. Сейчас работаем медленно, приводим зал и террасу в порядок. Пошевеливаются только Ясмин и Омар, которых у бара ждут спутники.

Напоследок протереть стекло и обернуть еще приборов к завтрашнему обеду. Алехандро выносит клубящиеся паром зеленые стойки с бокалами. Поначалу они слишком горячие, не тронешь без полотенца. Мы с Омаром принимаемся обертывать: сложить салфетку в треугольник, ложку поверх вилки поверх ножа разместить вдоль длинной кромки, боковые уголки завернуть внутрь, закатать все вместе до уголка напротив. Крейг пересмеивается с тощей подругой Омара у барной стойки, и Омар обертывает все быстрее и быстрее. Уйти мы сможем только после того, как в корзине окажется сотня комплектов.

Когда влезаю на свой велосипед, уже почти час ночи. Тело изнурено. Три мили до моего сарая кажутся дальней дорогой.

Темнота, жара, на тротуарах – немногочисленные люди попарно. Река и дрожащее отражение луны. Ты на вкус как луна, сказал Люк в том поле в Беркширах. Поэт сраный. На тропинке несколько человек держатся за руки, пьют из бутылок, валяются в траве, потому что им не видно, сколько там зеленого гусяного дерьма. Он поймал меня врасплох. У меня не осталось времени защититься.

По утрам я страдаю по маме. А вот поздней ночью скорблю по Люку.

Мост БУ пуст, безмолвен. Преодолеваю воду по дуге. Дышится туговато, сипловато, но я не плачу. Пою “Психокиллер”<sup>28</sup> – в честь Мэри Хэнд. Добираюсь до подъездной аллеи Адама, так и не заплакав. Уже кое-что. Вкатываю велосипед в гараж. Маленькая победа.

Мне под дверь подсунуты два уведомления о просроченных платежах и приглашение на свадьбу. На автоответчике мигает запись. Кровь у меня ускоряется. Старый рефлекс. Это не он. Это не он, говорю я себе, но сердце колотится все равно. Жму на “воспр.”.

– Эй. – Пауза. Долгий выдох, словно раскат грома в микрофон.

Это он.



Мама умерла за полтора месяца до моей поездки в “Красную ригу”. Я позвонила спросить, можно ли сдвинуть даты, можно ли приехать осенью или зимой. Ответивший на звонок мужчина горячо пособолезновал, однако сказал, что мне досталась самая длинная резидентура, какая у них только бывает. Восемь недель. С 23 апреля по 17 июня. Календарь “Красной риги” никак не поменять, сказал он.

Между нами простерлось долгое молчание.

– Вы отступаетесь от участия? – спросил мужчина.

Последний раз слово, похожее на “отступаться”, я произнесла, кажется, на переменке классе в четвертом. “Покажешь зубы или язык – заплатишь отступного”.

– Нет, отступаться не хочу.



Из Бенда в Бостон я добралась самолетом, а оттуда поехала автобусом в Бёрриллвилл, Род-Айленд. Ранняя весна. Новая Англия. Выходя из автобуса, я вдохнула свое детство, учуяла талую землю у нас во дворе и нарциссы в конце дорожки. Мне дали комнату в общежитии, где спать, и хижину для работы, и, встав на крыльце хижины в первое утро, я вспомнила мамину светло-коричневую куртку с белыми шерстяными манжетами и воротником и запах ее винтер-гренowych “Спасателей”<sup>29</sup> в левом кармашке на молнии. Услышала, как она произносит мое имя – мое прежнее имя, Камила, только она меня так называла. Ощутила скользкое сиденье в ее синем “мустанге”, холодное сквозь мои рейтузы.

В “Красной риге” мама оказалась одновременно и покойной, и воскрешенной.

В обеденной комнате висело в рамке письмо от Сомерсета Моэма, одного из первых здешних резидентов.

“«Красная рига» – место вне времени”, – сказал он в том письме.



Люк был высоким и щуплым, как один несуразный дружок моего брата в средней школе. Прежде чем стать мне кем бы то ни было еще, Люк показался привычным.

Все началось в мой четвертый вечер в “Риге”. Одна резидентка показывала свой фильм в арт-сараяе. Пришла я слишком поздно, места не хватило, встала в задних рядах. Люк явился еще через несколько минут. На экране какой-то строительный инструмент ввинчивал шуруп в сырое яйцо. В очень замедленной съемке.

– Что я пропустил? – произнес он фальшивым шепотом. – Что я пропустил?

Скользнул мне за спину. На один ужин меня усадили к нему за стол – каждый вечер рассадку меняли, – и вдобавок несколько раз я проходила мимо него в коридорах основного здания. Не очень-то задумывалась. Я тогда не очень замечала людей. Да и не писала. У меня было восемь недель на роман, но сосредоточиться не получалось. В хижине, которая мне досталась, был странный запах. Сердце у меня билось слишком часто и под кожей ощущалось рыхлым, как старое яблоко. Хотелось спать, но я боялась снов. Во сне мама никогда не была собой.

Все время что-то не так. Слишком бледная или слишком опухшая – или в тяжелых бархатных одеждах. Слабая, немощная, неотчетливая в поле моего зрения. Часто пыталась уговорить ее остаться в живых – долгие монологи о том, что ей следовало бы сделать иначе. Просыпалась утомленной. У меня под окнами шуршали зверьки.

Когда Люк встал у меня за спиной, я сама сделалась зверьком – чутким, осторожным, любопытным. Люди все прибывали и прибывали, становилось все теснее, и случалось, что мои лопатки подолгу покоились у него на груди. Я ощущала, как он вдыхает и выдыхает, чувствовала его дыхание у себя в волосах. Что там случилось в фильме после того, как шуруп пронзил яйцо, я и не помню толком.

Все завершилось, я, спотыкаясь, выбралась на крыльцо. Было все еще светло. Небо фиолетовое, деревья темно-синие. Лягушки взялись за свое в пруду через дорогу, и чем пристальнее вслушиваешься, тем они громче и громче. Я оперлась о перила, а люди за мной скрипели креслами-качалками, передавали друг другу пиво и вскидывали бутылки за режиссершу, та психопатически хихикала, как это бывает, когда обнажаешься через искусство.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.